



СОВРЕМЕНИК

Борис Слуцкий

ДОБРОТА
ДНЯ



НОВИНКИ • СОВРЕМЕНИКА •

Борис Слуцкий

Доброта
дня





НОВИНКИ СОВРЕМЕННОГО

Борис Слуцкий

Доброта дня

*Новая книга
стихов*

«Современник»
Москва · 1973

Слущкий Борис Абрамович.

C49 Доброта дня. Стихи. М., «Современник»

...с., 1 л. портр.

В новую книгу Б. Слущкого вошли стихи, навеянные воспоминаниями о войне, портреты современников, размышления об искусстве, стихи о поездках за рубеж, о природе, о поэтическом труде.

С $\frac{0742-156}{106(03)-73}$

P2

Слово к читателю

Стихи, составившие книгу, написаны преимущественно после 7 мая 1969 года. В этот день автору стукнуло 50 лет. Такую дату приходится и продумать и прочувствовать. Хотя бы потому, что «и громче нас были витны», а шестой десяток распечатывали очень редко.

Приходится описывать целый возраст, до которого люди вообще, а поэты особенно, прежде доживали печально. А теперь — доживают.

В пятьдесят лет спешить не хочется. В то же время понимаешь, что торопиться — надо.

Хочется быть добрее, терпимее. Из этого желания выросло название книги «Доброта дня». В то же время на злобу дня реагируешь с все возрастающим нетерпением.

Хочется закончить все начатое. Все то, что осталось в черновиках.

Читатель рассудит, отразились ли в книге мои желания и сдерживающие их размышления.

Ни разу в жизни мне не удалось написать ничего длиннее ста стихотворных строк. Однако, собирая эту книгу, я с недоумением убедился, что сами собой лепятся циклы:

о море,
о русских художниках,
о снеге,
о войне,
о стариках,
о русских поэтах.

Книга выходит в издательстве, заимствовавшем у Пушкина и Некрасова славное имя «Современник». На то есть веские причины: пишу ли я о доброте дня или о его злобе, речь всегда идет о дне сегодняшнем или вчерашнем.

Поэту трудно не быть реалистом. Война, пересоздававшая мое поколение по своему образу и подобию, была реалистичной. Жизнь тоже реалистична. Иногда война и жизнь расплываются в романтике или сплываются в большие символы. Это тоже хочется описать.

Для самого себя я признаю только один вид постижения поэзии: чтение. Надеюсь, что мои противоречивые объявления все же пригодятся читателю, когда он останется один на один с этой книгой.

Борис Слуцкий



Не обходи необходимости,
ведь все равно не обойти.
Поэтому мосты мости.
Тори пути.
Проламывайся, прорубайся,
к тому, что впереди,
а обойти и не старайся.
Ведь все равно не обойти.

* * *

С большими расстояниями покончено —
Атлантика, экватор, все такое.
Но маленькие расстояния,
преодолеваемые на трамваях:
от дома до школы,
от дома до завода,
напоминают,
что в мире километры есть еще
и что передвижение в пространстве
так же трудно,
как передвижение во времени.

Дело в том, что рабочие, фабричный и заводской,
и не только в Москве, но в далекой заспешенной
области,
вечерами стоят перед черной учебной доской
и репают задачи повышенной сложности.

Дело в шляпе. А кончится белым воротничком.
Дело в образовании — среднем, законченном,
а невежество вскоре поляжет пичком
перед знанием, прежде забитым и скорченным.

Не искренность,
а нечего и незачем
ломаться перед негодяем, неучем.
Не откровенность,
вовсе не опа,
а просто так, какого же рожна?
Не прямота.
А просто — сам большой,
и незачем кривить душой.

Что ж, для величия души,
для доблести, для нелукавства
все средства хороши
и все лекарства.

**Интеллигентнее всех в стране
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
и не забыты еще вполне.**

**Все измерения для них лезы:
знают, какой глубины и длины
горы страны, озера страны,
реки страны, города страны.**

**В справочники не приучились лезть,
любят повинки стиха и прозы
и обсуждают Любовь, Честь,
Совість, Долг и другие вопросы.**

Трактора и автомобили

В России списывают трактора
и иногда — автомобили.
Они ль допустят,
чтобы их забыли?
Они ль признают,
что пришла пора?

Те марки,
что в Москве запрещены,
Погашены,
иной эпохи марки —
в провинции, как до войны,
раскатывают —
шатко-валко.

А трактора идут в металлолом.
Они опять становятся металлом.
Они опять точны, как эталон,
который не посмест быть усталым.

Светите, звезды

**Светите, звезды, сколько
вы сможете светить.
Устанете — скажите.
Мы — новые зажжем.**

**У нас на каждой койке
таланты, может быть.
А в целом общежитии
и гения найдем.**

**Товарищи светила,
нам нужен ваш совет.
Мы только обучаемся,
пока светите вы.**

**Пока у нас квартиры
и комнаты даже нет,
но ордера на космос
получим из Москвы.**

**Пока мы только учимся,
мечтаем, стало быть,
о нашей грозной участи:
звездой горящей быть.**

Судьба

Судьба — как женщина судья,
со строгостью необходимой.
А перед ней — виновный я,
допрошенный и подсудимый.

Ее зарплата в месяц — сто,
за все, что было, все, что будет,
а также за меня — за то,
что судит и всегда осудит.

Усталая от всех забот —
домашних, личных и служебных,
она, как маленький завод
и как неопытный волшебник.

Она чарует и сверлит,
она колдует и слесарит,
то стареньким орлом орлит,
то шумным ханом — государит.

А мне то что? А я стою.
Мне жалко, что она плохая,
но бедную судьбу мою,
не осуждаю и не хаю.

Я сам подкладываю тол
для собственного разрушенья
и, перегнувшись через стол,
подсказываю ей решенья.

Привязчивая мелодия

Глухая музыка, затертая стеной,
сочащаяся, словно кровь сквозь марлю,
как рыженький котенок малый,
увязывается влед за мной.

Что требуется музыке глухой,
невзрачной песне

от меня? Немного,
Молчания почти немого —
учитывается слух плохой —

а также подчинения всего:
походки, ритма и существования —
ее знахарству, чарам, волхвованью,
владычеству.

А больше ничего.

Поцелуй в темноте

Поцелуй в темноте. Часы
остановлены. Звезды — выключены.
Все страдания мира — вылечены.
Все стремления мира — чисты.

И покуда он длится, длится
поцелуй во тьме, во тьме,
темным снегом на светлые лица
сыщлет,
как подобает зиме.

Тает снег от тихой горячности,
заливая свидания те,
и восходит в вечерней мрачности
светлый
поцелуй
в темноте.

•

Решение

Накапуне все не слава богу.
График подготовки сбит и смят.
Путники не собрались в дорогу.
Оси и подшипники горят.

С маху подготовку обрываю:
выступим ни свет и ни заря,
и сегодня, загодя, срываю
завтрашний листок календаря.

О борьбе с шумом

Надо привыкнуть к музыке за стеной,
к музыке под ногами,
к музыке над головами.
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,
с нами, с вами.

Запах двадцатого века — звук.
Каждый миг старается, если ни векрикнуть —
скрипнуть.

Остается одно из двух,
привыкнуть или погибнуть.

И привыкает, кто может,
и погибает, кто
не может, не хочет, не терпит, не выносит,
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.
Он и погибнет зато.

Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!
Звездное передвижение нас по ночам не будит!
А тишины не просп.
Ее не будет.

Прозвище самолета

**Прост в управлении,
неприхотлив в эксплуатации
и поэтому его называли «умница».**

**Оказывается, умница —
это тот,
кто прост в управлении,
неприхотлив в эксплуатации.**

**Интересно поглядеть на умника,
выдуманного это определение.**

**Интересно,
прост ли он в управлении?
Неприхотлив ли в эксплуатации?**

По всем правилам — мой был ход.
Замотали!

Не дали ходу
и списали меня, как в пехоту
бортрадиста бросают с высот.

Я пошел тихонько домой,
по чего бы мне ни буравили,
уважаю старые правила,
по которым ход был — мой!



Косые линейки

Россия — не Азия. Реки здесь
не уходят в пески,

Из самотека

Косолинейная — в стиле дождя —
ученическая тетрадка.

В ней сформулировано кратко
все,
до чего постепенно дойдя,
все,
до чего на протяжении
жизни
додумался оп,
что нашел.

В ходе бумажного передвижения
это попало ко мне на стол.

Тщетна ли тщательность?
Круглые буковки?
Все до единой застегнуты пуговки.
Главные мысли,
как гости почетные,
в красном углу
красной строки.
Доводы — аккуратно подчеркнуты.
Пропумерованы четко листки.

Впрочем, подробности эти — технические.
Мысли же — мученические,
а не ученические.

Сам дописался,
додумался сам!
Сам из квартиры своей коммунальной
с робкой улыбочкой машинальной
вызовы посылал небесам.

На фотографии

до желтизны

блеклой

отчетливо все же видны —
взгляд,

прозревающий синие дали,
словно исполненный важной печали,
профиль,

быть может, поморских кровей,
бритость щеки, темень бровей,
галетук,

завязанный без ошибки
и машинальность робкой улыбки.

Эта последняя фотография
и не подробная биография
вложены вместе с тетрадкой в пакет.
Адреса же, обратного, нет.

Видно, и в том городке небольшом,
что разбирается все же на штемпеле,
верится плохо, чтоб кто-то нашел
волю и силу и время

из темени

светы погасшие извлечь.

Дело закрыто. Оборвана речь.

Я ощущаю внезапно
спиной,
кожей
и всем,

Перевожу Брехта

Я Брехта грузного перевожу.
Перевожу я Брехта неуклюжего.
Не расплету веревочное кружево.
К его Пегасу не сыщу вожжу.

Часы уже долдонят полвторого.
а я по-прежнему на полпути.
Нет, не легко немецкую корову
из стойла
в наше стойло увести.

Нет, не легко немецкую ворогу
по нашему заставить говорить.
В немецкую тупую оборону
непросто
дверь тугую отворить.

Фонетика какая!
Треск и лязг!
А логика какая!
Гегель с Кантом!
Зато лирических не точит лис.
Доказывает!
С толком и талантом.

Германия!
Орешек сей, куда
как крепок, тверд.

**И счастье и беда
в нем прозвучали вещими стихами.
А Брехта многомудрые слова
под воем бомб ни разу не стихали
и стихнут ли когда-нибудь?**

Едва ли.

Едва ли,

говорю я вам.

едва ли.

Смешливость, а не жестокость,
улыбка, а не издевка:
это я скоро понял
и в душу его принял.
Я принял его в душу
и слово свое не нарушу
и, как он ни мельтешит,
не выброшу из души.

Как в знакомую местность,
вхожу в его легковесность.

Как дороге торной
внезапный ухаб простишь,
прощаю характер вздорный,
не подрываю престиж.

Беру его в товарищи,
в спутники беру —
у праздного, у болтающего
есть устремленья к добру.

Заболоцкий спит в итальянской гостинице

У приглашенных было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умалвшись в банкетах и хождениях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, постальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.

Но Заболоцкий спал. Его черты
темнела ночь Италии. Безила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочию,
как закрывался он от звезд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шепоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.

Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Снял Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,
под толстую и детскую. Она
поклонилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Снял Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские мазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то шел
в неслышанной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплет.

Гуманист
с перегона
Москва—Калуга

Голосом,
огорченным общей неосторожностью,
тоном,
вернее, стоном,
неполненным невозможности,
убедить, пропнуть,
заставить понять —
водитель электропоезда «город Москва—Калуга»
с отчаянием настаивает:
«По рельсам не гонять!»
Этого
без лести преданного друга
слушает с уменской
вся папа округа.

Единственный
на материке пророк,
не ошибившийся еще ни разу,
в отчаянье и тоске изнемог,
рубит за фразой фразу:
— Кто по рельсам гоняет,
тот лишается ног! —
Пророчит, обвиняет, настаивает пророк.

Будут гонять по рельсам!
И на свою беду
векакивать на ходу,
соскакивать на ходу!

Впрочем, с электропоезда
особенно не соскочишь.
О, благородный водитель,
что ты, собственно, хочешь?
Впрочем, от благородства
я много не жду.

Голосом,
отчаявшимся
от всеобщей беспечности,
ты провозглашаешь формулы
человечности

и, отработав смену,
покидаешь сцену,
где мы нарушаем правила
с утра и до бесконечности.

Дом

Молодой человек с разговорником,
крепко стиснутым в слабой руке,
разговаривает с дворником
на своем полуязыке.

Адрес, вызубренный с младенчества,
повторяется без молодчества.

Дворник педоношмает,
после полуношмает,
но внезапно его озаряет,
озаряется дворник весь —
он метлой об асфальт ударяет,
объявляет пришельцу: «Здесь!»

Двор московский с начала столетья
никогого великоленья
не утратил и не приобрел.
Наконец он сюда забрел.

Дом большим казался в Париже,
оказался же он пониже,
но, конечно, именно тот.

— Кто, скажите, в доме живет?

— Люди! —

Дворник точно и грозно
отвечает.

Жильцы живут. —

И под этот ответ серьезный
тучки по небу тихо плывут,
детвора играет в квадрате
коммунальнейшего песка.

— Бога ради.

Бога ради.

Ах, тоска. Тоска, тоска!

Он отцу обещал,
клялся матери,
франк за франком деньги копил,
а теперь это все истратили:
истерпенье, жадность, пыл.

Двор как двор
и дом как дом.
Тучки по небу тихо ходят.
Отрывая ноги с трудом,
навсегда со двора он сходит.

Тоня
Калачева

Вдова ли первая жена?
Одна из многих?
Да, наверно.
По крайней мере, в то мгновение,
когда ей прозвонят слова,
как материк и острова,
се с прошептым разделяющие,
ужасные и впечатляющие
и равнодушные слова.

Ее окатит, словно дождь.
Ее охватит, как объятье,
и ей не хватит верить,
и тихо вскрикнет: это ложь.

Ложь! Перерезанная нить
перерезается вторично.
Ее касается так лично,
что невозможно объявить.

Теряется опять потеря.
На этот раз в последний раз.
Ложь! Тихо вскрикивает, веря,
уже поверя.

Время — час.

Квартира дрыхлет, коммуналка,
дыша, ворочаясь, соня,
и ей становится так жалко
его. Еще жалчей себя.

Ее новейший благоверный
спросонок спросит: чей звонок?
И снова спит без задних ног
от равнодушья — легковерный.

Расширенное воспроизводство поэтов

Ничего по своему
образу, подобно.
Ты не бог,
а педагог.
В соответствии уму,
и его и своему,
пескорки готовые
раздуваешь в огонек.

Он из глины не возник —
ученик,
рыжий или черный.
В выпеченный двадцатый век
он такой же человек,
только неученый.

Ты его не выловил —
он сам пришел к тебе.
Ты его не выслепил,
и в его судьбе
ты не бог,
а педагог.
Ты ему помог,
как мог.

Он записывает за
тобою советы.
Он глядит тебе в глаза
преданно за это.

Но он елину разогнет!
Школьникства сладкий гнет
с наслажденьем сбросит,
совета — не спросит.
Ты — ступень,
а он — ходок.
Ты не бог,
а педагог.
Знай, сверчок,
свой шесток:
ты не бог,
а педагог.
Не преграда,
не порог,
просто — путь-дорога!
Ты не бог,
а педагог.
Ты похлеще бога.

был халтурщик или культуртрегер,
но возился с таковским отребьем,
что жалчей и отрепанней — нет.
Ту дерюгу раздергивал он,
ткал из шток другую дерюгу.
Не желаю и злейшему другу
этой жизни, похожей на сон
со снотворным

бессильным уже,
с болью головной, постоянной —
этой жизни и сытой и пьяной,
но стоящей на рубеже,
но дошедшей до крайней черты,
докатившейся до предела.

Впрочем, вряд ли он думал, что дело
делал.

Это сознание сидело
в нем, его искажало черты.

Перевел он за жизнь тысяч сто
строк,

съел десять тысяч лангетов.
В люди вывел десяток поэтов!

Вот поэтому или за то
умирает в закрытой больнице,
на крахмальных лежит простынях —
Хлестаков, горлопан, Растищьяк!
Но сказать, как он прожил, — бонтел.

Шегритенок

Голову мне на плечо положив,
спал студент, отдыхал пассажир.
Только уселась, только устроилась —
дважды зевнул и сразу заснул.
Мы еще не взлетели, не строились,
он уже в третий сон заглянул.
Спит аккуратно,
прилично, опрятно,
изредка шепчет,
шпчуть не хранит.
Пусть его спит!

Волосы жестче и гуще,
чем африканские кудри,
те, из которых он родом.
С туго застегнутым воротом
спит он, измаянный городом,
посланный малым пародом
парень из древнего леса.
Спи, отдыхай, африканский студент.
Давний!

(В московское обут и одет)

Видно, отличник ты, не повеса.

Спи, отдыхай от Москвы,
от убыстренья истории.
Здесь, в самолете, как в санатории,
сразу же засынаете вы.

Что тебя в Африке ждет?
Кем тебе быть?
Арестантом? Министром?
Здесь, в реактивном, сверхбыстром
десять часов никто не найдет.
Выдвинут или задвинут тебя?

Тихо,
неслышно,
приятно
соня,
спишь,

и Москва с грохотаньем огромным
снится тебе в самолете укромном,
скатывается с тебя, словно море.

Что тебя ждет?
Повышение? Горе?
Спи!

Вершигора конспектирует

На совещаньях молодых писателей
среди многих молодых и ранних
порою встретится немолодой и поздний.
Всею некуда спешить.
У всех в запасе вечность.
Ему (по собственному счету)
осталось года два (или четыре?),
четыре (или два?) инфаркта,
и надо описать то, что увидел,
а как писать?

Все знают всё.
Он, — может быть, единственный —
в огромном зале
знает,
что ничего не знает.
Точнее: почти что ничего,
и надо описать это почти.
Романа на три хватит,
а как описывать?
Все слушают не слыша,
внимают невнимательно.
Им, в общем,
всё заранее известно.

А он глаза раскрыл пошире,
вытащил тетрадку
и конспектирует!

Браду уставя в парту,
презрев обстрел насмешливыми взглядами,
он — конспектирует!

Авось успеет, удастся поучиться
и даже выучиться!

Ведь не умел взрывать мосты
и — научился.
Ведь не умел командовать соединением
и — научился.
А вдруг успеет научиться
писать романы?

Решенье принято,
и жизнь,
что столько раз сначала начиналась,
на этот раз сидит за школьной партой
и конспектирует.

Молодята

Я был молод в конце войны,
но намного меня моложе
были те, кто рождены,
на пять, на шесть, на семь лет позже.

Мне казалось: на шестьдесят.
Мне казалось: на полстолетья
пережившие лихолетье,
старше мы, вот тех, молодят.

Мне казалось, что как в штабах,
как в армейских отделах кадров —
месяц за год — и все! Табак!
Крышка! Конечно! Бью вашу карту!

Между тем они подросли,
преимуществ моих не признали,
доросли и переросли,
и догнали и перегнали.

Оказалось: у них дела.
Оказалось: у них задачи,
достиженья, победы, удачи,
а война была — и прошла.

Подполковник

Аэродромы малой авиации
заслуживают длительной овацни.

Луговина мокрая от мая
иль пыльная от июля.

Непужный плетень сломали.

Пужное шоссе свернули.

Шест.

На нем полосатый, раздутый ветрами мешок.

И подполковник, просквозженный до самых кишочек.

Вот и все.

Он исполнен иронии к самому себе,
к врачам, списавшим его из большой авиации,
к погоде, к судьбе
и все же заслуживает длительной овацни.

Он приучил колхозных старух

не только не бояться полета,

Но и ругаться велух

при десятиминутном опоздании пилота.

Не требуя ассигновок на шоссе,

благодаря своим рейсам печастым,

все совхозы, колхозы все

он связал с районным начальством.

Купив кюрок на собственный счет,

добился открытия «Союзпечати»,

сколько дождь его ни сечет,

в его пренни нет печали.

Гордись победоносной войной,
в чащье грядущих лет беснокойных,
он представляется не
отставной,
а просто подполковник.

Взор

Поперечных пыльщиков — сильнее,
неба августовского — синее,
моря-океана солоное
взор.

Поглядит и сразу разберется,
что к чему, за что бороться,
отопрет какие-то воротца,
замкнутые до сих пор,

острый, беспощадный, как топор,
взор.

Прыжок

Не вспомянув о пережитом
перед упоением полета,
выбрасываюсь с парашютом
из микрокосма самолета.

Теперь до микрокосма поля
с дощатой будочкой у входа
лететь сквозь мировую волю,
через вселенскую свободу.

Ты этого давно хотело —
пари же в пропастях и безднах,
лети мое земное тело
среди прочих равных тел небесных.

Соловьев
с Ключевским

Бесконечный и мощный, великий туннель,
потрясающий длительностью и объемом,
и его бесконечность, громадность теней
освещают Ключевский вдвоем с Соловьевым.

В ту эпоху и пору поповичи шли на рожон
и светили, покуда горели.
Эти двое, напротив, любили холодный резон,
аргументы и доводы, и достижимые цели.

Призывался попович к царевичу — в Зимний дворец,
обучить на царя, разъяснить и проблемы и факты,
но не думал при этом, что он демиург и творец,
думал: может быть, что-нибудь сделаю как-то.

У последних Романовых были тупые мозги —
пенюклядиеты, высокомерны, строптивы.
Возвращаясь с урока, не видел попович ни зги,
никакой перенективы.

Пет, империи не собиралась пересоздавать!
Собиралась с утра и до ночи трудиться
и
по тому раз в год
бесконечный сей труд
издавать,
также — преподавать и с издателем жестким
рядиться.

Не царевичу — Року истории уроки давал,
все сомненья и страхи свои изливая,
и поэтому Ленин его в Октябре издавал
на последней бумаге,
старых матриц не переливал.

Петроград,
1920

Город бывших посольств, город бывших дворцов,
город досок мемориальных
и каких-то литературных скворцов,
пролетающих мимо реальных.
Город, где настоящее занято тем,
чтобы прошлое не разбазарить,
и исчерпанных Пушкиным с Гоголем тем
до бровей этим отсветом залит.
Ведь разводятся все же почками мосты
и Нева протекает все та же,
и все та же звезда с былой высоты
в вышнем падает пилотаже.
Есть углы, где еще девятнадцатый век
сохранился! Вот прилопился
к кладке каменной молодой человек,
в дома тень

своей тенью вломился.

Что он думает? Кто перед ним виноват?

Что он делать предполагает?

Приглядимся. Он худ, молчалив, вяловат,
кредо он не крича излагает.

Что ж, послушаем. Может, начнется с него.

Может, он знаменует начало.

Ну, а если он не сообщит ничего —
это многое бы означало.

Означало бы, что пустота с тишиной
не на час, а на век и поглупе.

Впрочем, вот он здоровается со мной.

Говорит. Это стоит послушать.

Тезки

— Александр Николаич
и вы, Александр Николаевна,
как вы прожили жизнь? —
Отвечают с улыбкою:
— Славно.

— Были ссоры и драки?
— Нет. Жили мы в дружбе и в мире
и в холодном бараке
и в коммунальной квартире.
А в отдельной квартире
Жили тоже мы в дружбе и в мире.

— Александр Николаич,
чего вы желаете?
Я могу попытаться устроить все то,
что вы пожелаете.

— Я желаю, чтоб выздоровела Александр Николаевна.
Это главное.

— Ну а вы, Александр Николаевна,
есть у вас просьба заветная?

— Да, наверное, —
чтобы не волновался на службе
Александр Николаевич, Саша,
и чтоб жизнь продолжалась, по возможности,
дольше наша,

**и, конечно, чтоб в мире был мир!
Чтобы мир во всем мире!
Чтобы жили все дружно,
как мы, в нашей новой квартире!**

Отец

Я помню отца, выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.

Я помню отца, читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье — главное!».
Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято,
в то, что здоровье —
главное.
Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковно-приходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.
Не было мешка,
который бы он не поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу — соснового типа, —
и когда его опускали
в могилу — обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его,
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

О, первовпечатленья бытия!
Обвалом света
маленькое «я»
ослеплено
и оползнями шума
оглушено, засыпано.
Ему
приспособляться сразу ко всему
приходится.

О, как перавет бой!
Вся сложность мира борется с тобой,
весь вес,
все время
и пространство света.
Мир так огромен,
так ничтожен ты
меж глубины его и высоты.
но выхода, кроме победы, — нету.

III

5 Б. Слуцкий



Кромкой береговою
тихо бреду во тьму.

Птичьи переговоры
я никогда не пойму.

Ключ к ним надежно спрятан.
Не к чему вынимать.

С птицами можно рядом
жить и не понимать.

Петухи

Боговы конкуренты —
колоколов громчей.
Утрепнее кукареку
жарче ярых свечей.

Через Лету-реку
слышу на берегу
сладостное кукаре́ку.
дерзостное кукарекú,

Из предыдущей эры
мне петух пост
арно ярой веры
в то, что день придет,

в то, что солнце встанет, —
ночь ему пипочем, —
в то, что быстро тает
тьма под его лучом.

И гром и молния

Что значила молния,
перечеркнувшая
весь мой горизонт, кругозор, окоем
и крепкой петлею меня захлестнувшая?
Что значили с молнией мы вдвоем?

Гром, закопомерно грянувший после,
я слушал в пол-уха, как бы отстраня.
Но что означала молния
возле,
в полусантиметре возле меня?

Перенады
давлений и температур
ветер с берега в море сдул.

Сдул их вместе
со старым газетным листом
и зеленым и юным
древесным листом.

Установлена
и воцаряется тишь.
Ты — под солнцем стоишь.

Бьют лучи его
косоприцельным огнем.
Утром — весело.
Бешено — днем.

А куда
попадет золотая стрела,
покрываются черным загаром тела.

Золотест песок,
высыхает ручей
от косых, от прямых,
от прицельных лучей.

Портрет волны

Спиной к окну, к натуре, к морю,
как Айвазовский в старину,
с натурой вдохновенно споря,
пишу волну.
Спиной к окну.

Пишу не только цвет — и запах,
раскраску, так же, как разгон,
когда волна на задних лапах
пружинится перед прыжком.

Не уважая факта голого,
пишу свой трепет, свой испуг,
свой ужас:
через мою голову
она па холст плеснула вдруг.

Империя заката

Закат свои империи сжигает,
закат свои династии крушит
и до того пижонит и шикарит,
как будто мир ему принадлежит.

Но свертывается кровь заката,
густеет и темнеет дочерна,
и в отдалении, за кадром
свой слабый голос
пробует луна.

Молча смотрю на солнце

Поскольку мне достались
только небо и солнце,
я посмотрел на небо
и я увидел солнце.
Я прежде его не видел.
Я тень предпочитал.
А пынче его увидел
и весь затрепетал.

Огромное преимущество —
молча смотреть на него,
когда никакого имущества
нету, кроме него.
Когда никакого выхода
нету, кроме него, —
огромнейшая выгода —
молча смотреть на него.

Время горы

Не теряет времени гора.
Не теряет и не убивает.
Просту: с утра и до утра
существует, пребывает.

Видимо, позбретя часы,
зажил человек отнюдь не просто.
Не теряют времени овсы.
Времени не убивают роци.

Руку им не стянет ремешок.
Вечность их на миги не разъята.
И двенадцати ударов шок
им не бьет подобием набата.

Торопиться некуда волпе.
Не спешат по небосклону звезды.
И не то что вам и мне —
все равно им: рано или поздно.

Собачья душа

Раздавленная дворянка
Скулить уже не могла.
Подрагивала однако.
Не умирала — жила.

Жила — не умирала,
хотя совсем собралась,
и кровь из нее марала
асфальт

и снова лилась.

Под бешеным солнцем юга
кровавый потёк густел.
Промчался прочь шоферюга,
оглядываться не захотел.

Размазанные по дороге,
по грязи, по пыли
подрагивали ноги —
дрожать уже не могли.

Какие-то важные мысли
насканивали спеша,
и незаметной мышью
рванулась прочь душа.
Собачья душа.

Море

1. Первый рейс «Назыма Хикмета»

А все-таки я стоял на корме.
А все-таки видел пенный след.
А все-таки это досталось мне:
четыре дня за сорок лет.

Дельфины приветствовали меня.
Но не прекращали свои труды.
А солнце подмешивало огня
в огромную голубизну воды.

Сухие греческие острова,
их славные, как Гомер, имена,
их выжженная до корней трава
и ощущение явного сна,

да, сна наяву, перелома в судьбе,
вида, невиданного до сих пор,
и третий штурман шепчет тебе:
Лемнос, Лесбос, потом: Босфор.

2. Чистота

Мусор в море.
Волны выпросят
старую газетку почитать,
или кто бутылку выбросит,
и она плывет.

Мусор в море возмущая сначала,
даже настроенье омрачал,
но смотря, как зыбь качала
чепуху и ерунду,

как это терлось, растворялось,
пропадало с глаз,
как легко заравнивало море
вельческую грязь,

сам свой личный мусор в море
сбрасывал я, не спуская с глаз,
как легко с себя смывает море
вельческую грязь.

Море умывается, как кошка,
языком волны,
Слизывая мелочь, сор и крошку,
те, что не пужны.

И опять до окоема
чистота.
Волны планетарного объема
бьют в борта.

3. Морская дорога

Корабль — путеукладчик
дороги пролагает
в зеленом Черном море
и в черном Белом море:

блестящие от пены,
короткие дороги,
волною их смывает,
ходить по ним пельзи.

А ночью, лунной ночью,
в дорогу за кормою
вливается, втекает
блестящий шлях луны.

А в небе, черном небе,
отчетливо искрится
другой — Чумацкий шлях,
по-русски Млечный Путь.

Стою на перекрестке,
плыву на раздорожье,
а море не пустынно,
особенно — ночное:
на нем дорога сеть.

4. Волнорез

Волнорезу в океане нечего
обижаться на упрямство волн.
С регулярством
грохота кузнечьего
волны бьются в мол.

Бьют, как хаос осаждают космос,
как историю извечность бьет
или как вневременная косность
просвещение обтаст.

Стойкости задумываться нечего,
нечего обдумывать конец.
С регулярством
грохота кузнечьего
волнорез врезает свой резец
в океан.

5. *Кирпичонок*

Кирпичонок,
 обточенный морем,
до печенок
 в соленом проморен,
в горьком
 вымочен
 до печенок,
морем
 выброшен
 кирпичонок.

Был ты домом,
 может, богатым,
стал ты комом,
 круглым,
 покатым,
стал ты камнем,
 добился цели.
Все мы кашем,
 выплывем все ли.

До сих пор
 меня не устали
тешить серии:
 были — стали.

6. *Подмечная
величина моря*

Море поднимается кверху
по отлогой покато́й кривой.
Сколько
 плеску, блеску, сверку
Устраивает на нем прибой!

Море плещет до горизонта
и заплескивает за горизонт,
километры глотает с хода
и, как семечки, их грызет.

Море.

Что же после моря!
После моря — океан.
Остров суши
в полной мере
оюлся им,
окаймлен.

Континентов архипелаги,
эти утлые материки,
как кораблики из бумаги,
одподневны и легки.

Потому что до моря — море.
После моря — опять же море,
и, короче говоря,
где ни глянешь — моря. Моря!

Синие — до самой линии
горизонта, а за ней,
за чертой этой самой линии —
голубей и синей. Синей!

7. Свобода

Вот он полный образ свободы.
Это если справа по борту
веселятся дельфины в воде,
а по борту, но только слева,
солнце только что в море село,
максимально приблизясь ко мне.

Шепчутся соседние балконы
двух пансионатских корпусов.
Милиционеры про законы
нарушителям напоминают.
Волны гальку с грохотом смывают.
Ворота, как бастионы,
вдруг засовываются на засов.
Наступает время голосов.

Все, что было музыкой подмято, —
море, человек, теплынь, —
вдруг запахло,
терпко, словно мята,
мощно, как полынь.

Сквозь обломки доремифасоля
волны пробиваются в песок.
Слабый запах йода или соли
подает неслышно голосок.

*9. На «диком»
пляже*

Безногий мальчишка, калечка,
неполные полчеловечка,
остаток давнишнего взрыва
необезвреженной мины,
величественно, игриво
торжественно прыгает мимо
с лукавою грацией мима.
И — в море! Бултых с размаху!
И тельце блистает нагое,
прекрасно, как «Голая Маха»
у несравненного Гойи.
Он вырос на красшке пляжа
и здесь подорвался — на гальке,

и вот он пырлет и пляшет,
упругий, как хлыст, как пагайка.

Как солнечный зайчик, как пенный,
как белый барашек играет,
и море его омывает,
и солнце его обагрят.
Здесь, в море, любому он равен.

— Плывите, посмотрим, кто дальше! —
Не помнит, что взорван и рапес,
доволен и счастлив без фальши.

О море! Без всякой натуги
ты лечишь все наши недуги.
О море! Без всякой причины
смываешь все наши кручины.

*10. На санаторном
пляже*

Скалы в гальку передробило,
гальку перемололо в песок
и, шепча, как все это было,
сыплет мне песок на висок.

Я стремился, и я дорвался.
Вот я слушаю павеселе,
как прекрасная музыка вальса
исполняется на корабле.

Влажный,
от сухого винаща,
горький
от соленой воды,

сладок день —
и воздух и нища,
долог отдых,
кратки труды.

Украина вся и Россия
и тринадцать республик других
получают без счета снаги,
пепу моря и чайек гик.

А от музыки популярной
забывается мрак полярный!
А круглогодовой аврал
ветер,
береговой
побрал!

Прощание

Перрон. Провожающий машет рукою.
Вагон. Отъезжающий машет платком.
О, сколько их кончилось сценой такою,
любвей и дружб. Сколько скомкалось в ком.

Не в такт они машут. И долгим гудком
затонит, зальет, как весенней рекою,
и
машущего с перрона рукою,
и
машущего из вагона платком.

Самолеты порют парусину неба.
Распорют, стихнут, снова распорют
и снова стихнут.
Эта парусина, верно, вся в распорах,
и сквозь них на землю
сыплются ночами
целовкие звезды.

Снег

1. Начало зимы

То ли свет,
то ли смех —
снег.
Выше всех,
тише всех
снег.

Шестеренка снежинки сцепляется
с шестернею земли,
и поля удивляются,
до чего же их замели!

Белокожая, как Афродита,
высыпает свои закрома,
так похожая на Антарктиду
всей повадкой своей — зима.

И как будто пятигодовалый
африканского
сын
 посла,
я гляжу, как она занесла.
Тишина — а вроде обвала,
белизна, а как ночь, — густа.

И неслышимо, как опаздывающие,
все скорее, скорее падающие,
запшмают снежинки места.

в огромном доме,
где соседи живут годами,
не знакомясь
и даже не хороня друг друга,

в коммунальной квартире
с расписаниями
звонков на входной двери
и дежурств на кухне,

в одной комнате
живет человек,
выходящий только в ванну и на службу.

Он не засиживается в уборной,
не залеживается в ванне,
не пользуется кухней.
Ему не звонят по телефону.
Соседи забыли его имя-отчество,
но не забыли его фамилии,
дважды повторенной
в расписаниях
звонков — на входной двери
и дежурств — на кухне.
И только маленькая девочка,
единственная в квартире,
жаждущая общения,
раз в году
говорит ему:
«Первый снег!»

4. За городом

За городом от снега
дни длиннее немного.
Ночи — короче.
За городом — небо,

**и бредут не в ногу
через ночи рощи.**

**Иней и березы
отбеливают пространство.
Мощные сосули
заливаются светом.
А снеговые розы?
А ледяные астры?
Ивы, спины сутуля,
согнувшиеся под снегом?**

**За городом — в пригороде,
и далее — в окрестности,
и далее — в области,
я далее — в стране
к вашей вящей выгоде —
все места и местности,
к вашей вящей доблести —
все закаты в огне.**

5. В январе

**По снегу рассыпали песок.
Желтым белое припорошили.
Безнаказанно разворошили
девственной зимы кусок.**

**Приспособили январь
к каучуку, пластинку и коже.
Безнаказанно, давай,
двигайся, прохожий.**

**Жалко только: белый-белый снег
желтизной обезображен.
Деловит, сосредоточен, важен,
зиму улучшает человек.**

6. Зимняя Ялта

Кто же поедет в Ялту зимой?
В зимнюю Ялту,
в холодную Ялту?
Если однажды там побывал ты —
ты возвращаешься, словно домой.

В Ялте ветра ледяные метут,
сыплются галькою или песками.
В Ялте цветы жестяные цветут,
с твердыми, словно металл, лепестками.

В Ялте зимою и порт и курорт,
все языки там и званы и явлены.
В Ялте давно уже выведен сорт
ялтинцев, морозостойких, как яблонн.

Зимняя Ялта бежит налегке
и, словно зимний прибой, парастает,
и как снежинка лежит на руке
Крыма и, словно снежинка, не тает.
Если и выпадет снег на часок,
сразу его на снежки расхватывают,
Зимняя Ялта — цветной поясок
Крыма —
огнями своими светает.

Зимняя Ялта свежа и сладка,
а кипарис ее зелен и строг,
а виноград продается с лотка,
а шанлыки продаются с жаровен.

Ялта зимой — не обидься за мой
топ — он от доброго отношения.
Я возвратился к тебе, как домой.
Стих этот быстрый принес в подношение.

Полуночное шоссе

В темной трубе ночной дороги
медленной пулей двигаю ноги.
В черном дуле ночного шоссе
передвигаюсь медленной пулей.
Днем шоссе жужжит, как улей.
Ночью шоссе спит, как все.

Звезды — щели в крыше ночи.
Выше крыши -- сплошной огонь.
Медленной пулей, что есть мочи,
ногу волочу за ногой.

Ночью на шоссе одиноко,
словно в небесах надо мной.
Отдаленные, как Орионко,
две медведицы надо мной.

Скорая пуля машины ночью
мимо медленной пули мчится,
и внезапный стих стучится,
словно путник в дом ночной.

Последний дом Москвы

Последний дом Москвы,
а дальше — Немосква,
дороги и мосты,
деревья и трава.
Последний дом, последний дым
над ним,
от ипея седым.

Чуть ранее газет
я выхожу с утра.
Темнеет белый свет,
но мне уже пора.

Поспешно прохожу —
успею до зари —
и словно бы гашу
собою фонари.

Последняя звезда
бледнеет в небесах.
Грохочут поезда
на петловых базах.

И загород спешит,
а пригород — бежит,
и пыль над ним шумит,
и рельс под ним визжит.

Отбрасывая тень —
пускай до ночи ждет,
огромный повый день
по городу идет.

Розовые лошади

До сих пор не знаю,
отчего были розовы лошади эти?
От породы?
От крови, горящей под тонкою кожей?
Или просто от солнца?

Весь табун был гнедым, вороным и буланым.
Две кобылы и жеребенок
розовели, как зори в разнооблачном небе.

Эти лошади держались отдельно.
Может быть, ими брезговали вороные?
Может быть, им самим не хотелось к буланым?
Может быть, это просто закон мироздания —
масть шла к масти.

Но среди двухсот тридцати коннозаводских,
пересчитанных мною на долгом досуге,
две кобылы и жеребенок
розовели, как зори,
развевались, как флаги,
и метались языками большого пожара.

Кони с конзавода

**Кони с конзавода —
чуть правее заката.
Справа солнце.
Слева речка.**

**Белые жеребята
скачут у поворота
речки на запад.
Вдруг они чуют запах:**

**это лось проходит.
Он проходит рядом.
Он табун обводит
понимающим взглядом.**

Дерево в окне

Было бы окно: хоть одно,
а в окне чтоб дерево стояло.
Ель или береза — все равно,
хоть одно
дерево росло бы постоянно.

Если дерево в окне растет,
вырастает, сколько падо за год,
легче жить, не замечашь тягот.

Если дерево в окне растет,
если зелено оно весною,
пусть оно не жнет, не пашет,
пусть оно ветвями только машет,
пусть оно ликует надо мною.

Садовый участок

Пенсионер свою пенсионерку
в своем пеньковом бедном гамаке
трясет, словно солдат свою мащерку
в своей солдатской боевой руке.

Качается гамак,
и пожилая
властительница всех его судеб
качается,
плечами пожимая,
глаза жеманно к небесам воздев.

Скрипит веревка, а вокруг — природа,
шесть соток леса, луга и небес,
и хвастает пенсионер про роту,
с которой он сквозь загражденья лез.

Про загражденья и про награжденья,
о том, какой он подавал пример,
с какой-то дикой силой убежденья
жене рассказывает пенсионер.

И родственной наделено душою
все!
Даже сохнувшее белье.
И все кругом свое, а не чужое.
Нет, не чужое все кругом — свое.

Летний дождик

Дождь короткий, закатый жарой,
словно церковь — домами высотными!
Пчел прозрачных стремительный рой
жужжанул над мальцами веселыми!
Пыль смочил
и с носов
пудру смыл,
в городские газоны вломился,
листья наполовину отмыл
и куда-то немедленно смылся!

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным
или мороженым,
или тертым.

У всех мальчишек огромные плапы.
Они сокращаются с годами.
У кого много.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.

Мой дождь, мой день

Серый день, ни то ни се, обыденное.
Серенький денек, ни то ни се —
сызнава увиденные
закрывают всё.

Под дождем распяленные зонтики
и плащей рой
всю цветистость мира, всю экзотику
закрывают, потому — мон.

Чувства ветхие и древние,
вечные, словно слеза.
Улица моя. Моя деревня.
Город мой. Моя стезя.

Вечные, как век мой, пусть не дольше.
Дольше — ни к чему.
Серый мой денек и частый дождик,
по плащу шумящий моему.

Желание

Не хочу быть ни дубом, ни утесом,
а хочу быть месяцем маем
в милом зеленеющем Подмоскowie.
В дуб ударит молния, и точка.
Распилить его могут на рамы,
а утес — разрубить на блоки.

Что касается месяца мая
в милом зеленеющем Подмоскowie,
он всегда возвращается в Подмоскowie —
в двенадцать часов ночи
каждое тридцатое апреля.

Никогда не надоест друг другу —
зеленеющему Подмоскowieю
и прекрасному месяцу маю.

В мае медленны краткие реки
зеленеющего Подмоскowieя
и неспешно плывут по течению
облака с рыбаками,
рыбаки с облаками
и какие-то мелкие рыбки,
характерные для Подмоскowieя.

IV



Подшивки

В офицерском резерве
на бетонном полу
в октября средние
уже ледовитом
мы не спали. Глазели
в закопную мглу.
Разоспаться не просто
на пайке половинном!

На рассвете я пачал
подшивки листать.
Это осенью было
сорок первого года.
Мне казалось: любые газеты читать,
кроме свежих, —
большая удача и льгота.

Прошлогоднее лето
метнулось ко мне.
Немцы лезут на Францию.
Бельгия пала.
В страпной,
как мы тогда говорили, войне
страпность кончилась,
вышла, исчезла, пропала.

Что же страпного?
Сильный ликует и бьет.
Что же страпного?
Слабый схватил свою чашу.

И пригубил. И сморщился.
Все-таки пьет.
Пьет. Захлебывается чаще и чаще.

Танки лезут на Францию.
Танкам легко.
Полистаю подшивку —
найду их в Париже.
Далеко эта Франция?
Да, далеко.
Далеки эти танки?
Все ближе и ближе.

Скоро кончим резервное наше житье.
Скоро кончится наш интервал, промежуток.
И, захлопнув подшивку, я лег на нее
и заснул.
И проспал до полудня, полеуток.

Как растаскивается пробка?

Регулировщица робко
матерится недавно усвоенным матом.
Что ей противопоставить громадам
танков,

 колоссам самоходок?
Шофера, сквозь дым самокруток,
оживленно толкуют о прошлых походах,
о былых маршпругах.
Потому что образовалась такая
пробка,

 такое столпотворенье,
как будто пробочная мастерекая
сама варила это варенье.

Все глядят на небо. Оно — голубое.
Оно даже синее.
Но в любое
мгновение
кресты самолетов вышьет,
потом фугасками забросает.

В пробке не так уж просто выжить.

А пробка бытом уже обрастает.
Уже познакомились и посмеялись.
Уже возникает общественность в пробке.
Уже заменяют улыбкой ярость.
Торятся к регулировщице тропки.

От Малахова кургана
до Мамаева кургана
отступали,
а другие — от границы до Москвы,
а иные — по дороге в плен попали,
а иные — не сносили головы.

Но закончили войну не на Кавказе,
не на Волге и не на Дону,
а в берлинском, праздничном приказе,
там на Шпрее — мы закончили войну.

Все — и те, кто в сорок первом сгнули,
похоронены по долам и лесам,
из чехлов свое оружие вынули
и палили по берлинским небесам.

Трассами перечеркнуло беды,
выпили, как предки в старину.

Общая

была победа.

Вместе

выиграли мы войну.

Как отдыхает разведчик

Вот он вернулся с задания.
Вот он проспал, сколько смог,
вытянув вдоль мироздания
нару исхоженных пог.

Вот расстелил плащ-палатку.
Вот подстригает усы.
О, до чего же вы сладки,
тихие эти часы.

Солнце еще в зените.
Долго еще до темна.
Жаворонки, звените,
не замирай, струна!

Вы, трофейные часики,
тикайте на руке!
Изображайте, классики,
эту жизнь палатке!

Изображайте, гешпи,
если вам по плечу:
до следующего задания
полсуток ему еще.

**Скандал
сорок шестого
года**

— Где же вы были в годы войны?
Что же вы делали в эти годы?
Как вы использовали бронь и льготы,
ах, вы, сукины вы, сыны!

В годы войны, когда в деревнях
ни одного мужика не осталось,
как вам елось, пилося, питалось?
Как вы использовали свой верняк?

В годы войны, когда отпусков
фронтовикам не полагалось,
вы входили без пропусков
в женскую жалость, боль и усталость.

В годы войны, а тех годов
было, без небольшого, четыре,
что же вы делали в теплой квартире?
Всех вас передушить готов!

— Наша квартира была холодна.
Правда, мы там никогда не бывали.
Мы по цехам у станков почевали.
Дорого нам доставалась война.

Послевоенное бесптичье

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые деревья
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.
Пронзительные птичьи голоса
умолкли.
Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже пельзя терпеть.
Полещуку бесптичье хуже казни.
О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или ворон каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет пазад звукочок:
какой-то «чок»
какой-то «чок-чок-чок».

Фотографии моих друзей

Фотографии стоили денег
и по тем временам — больших.
При тогдашних моих убеждениях,
фотографии — роскошь и шик.

Кто там думал тогда, что сроки,
нам отпущенные, — невелики.
Шли с утра до вечера строки,
надо было сгребать в стихи.

Только для паспортов —
базарным
кустарем
запечатлены,
мы разъехались по казармам,
а потом по фронтам войны.

Лучше я глаза закрою,
и друзья зашумят павзрыд,
и счастливым взглядом героя
каждый

память мою
одарит.

Политкружок часовщиков

Не бицепсы напряжены —
щека.

Нагрузка вся
на глаз, на мозг, на пальцы.
А все же у него, часовщика,
есть время
осмыслять всемирные напасти.

В те годы беспокоила артель
и отвлекала мысль от шестеренок
Германия.
Какая цель
у гитлеровцев разъяренных?

И я, недоучившийся студент,
был нанят за почасовую плату,
дабы весь мир
до Рейна, до Лаплаты
в своей беседе часовой задеть.

Весь мир.
А также на любой вопрос
ответить, рассчитать любые шансы.
И с каждою беседою я рос,
и с каждою —
умнел и улучшался.

Часовщики взирали на меня,
как на секундную взирали стрелку.

вот что это значит:

политучеба

кончиться должна.

Пришли

политработы времена.

Глаза детей

От Старой Руссы и до старой Рузы
по школам дети маленькие русы.

От Волочка и до Волоколамска
глаза их синие сияют лаской.

Теплей тепла и ледяней ледыши
блестят глаза в Мезени и Медыши.

Как радуга над Ладогой блистает,
когда ребята Пушкина листают.

Как им, наверно, весело и славно
на всем скаку перегонять Руслана.

Варшавянки

Были площади все изувечены.
Все дома не дождались пощад.
Но великие польские женщины
шли по городу в белых плащах.

В белых-белых плащах фирмы «Дружба»,
в одинаковых, недорогих.
Красоты величавая служба
заработала раньше других.

Среди мусора, праха, крапивы,
в той столице, разрушенной той,
были женщины странно красивы
невзрываемой красотой.

Были профили выбиты четко,
а движения дивно легки.
Серебрились цветнопрически,
золотели цветочулки.

И белее, чем белое облако,
ярче, чем городские огни,
предвещаньем грядущего облика
той столицы
летели они.

Пролетали, земли не касаясь,
проходили сквозь мрак патоцка,
сонмы грустных и грозных красавиц
в одинаковых белых плащах.

Я вижу белые халаты
над синевою чертежа.
Вычерчиваются палаты,
где будет жизнь светла, свежа.

Архитектура начиналась
на солнышке и на ветру.
Платановость или чинаровость
над ней шумели поутру.

Обдумывался, как подсолнух,
дом, план его и материал,
чтоб спозаранок и спросонок
на солнце окнами — стоял.

Прорезываем окна, входы
туда, где утро и листва.
Да, снова на восток, к восходу,
как солнца, так и зодчества!

Моя средняя школа

Девяносто четвертая полная средняя!
Чем же полная?
Тысячью учеников.
Чем же средняя, если такие прозрения
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,
дети наших отцов,
слесарей, продавцов,
дети наших усталых и хмурых отцов,
в этой школе учились
и множество всякого
услышали, познали, увидели в ней.
На уроках,
а также и на переменах
рассуждали о сдвигах и о переменах
и решали,
что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,
грозы, те, что позднее пад страной разразились,
стойкости
перед лицом голодов
обучили,
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра — вся до нуля,
геометрия — вся, до угла — позабыта,

**но политика нас проняла, допяла,
совесть —
в сердце стальными гвоздями забита.**

Ленка с Дунькой

Ленка с Дунькой бранятся у нас во дворе,
оглашают позорные слухи,
как бранились когда-то при нас, детворе,
но теперь они обе старухи.

Ленка Дуньку корит. Что она говорит,
что она утверждает, Елена
Тимофеевна, трудовой инвалид,
ревматизмом разбиты колена?

То, что мужу была Евдокия верна,
никогда ему не изменила,
точно знала Елена. Какого ж рожна
брань такую она применяла?

Я их помню молоденькими, в двадцать лет,
бус и лент перманент, фигли-мигли.
Денег нет у обеих, мужей тоже нет.
Оба мужа на фронте погибли.

И поэтому, Ленка, седая как лунь,
Дуньку, тоже седую, ругает,
и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь,
на-ко, выпей — берет, помогает!»

Три столицы
(Харьков—Париж—
Рим)

Совершенно изолированно от двора, от семьи
и от школы
у меня были позиции свои
во французской революции.
Я в Конвенте заседал. Я речи
беспощадные произносил.
Я голосовал за казнь Людовика
и за казнь его жены,
был убит Шарлоттою Корде
в никогда не виденной мною ванне.
(В Харькове мы мылись только в бане.)
В 1929 в Харькове на Конной площади
проживал формально я. Фактически —
в 1789
на окраине Парижа.
Улицы сейчас, пожалуй, не припомню.
Разница в сто сорок лет, в две тысячи
километров — не была заметна.
Я ведь не смотрел, что ел, что пил,
что недоедал, недопивал.
Отбывая срок в реальности,
каждый вечер совершал побег,
каждый вечер засышал в Париже.
В тех немногих случаях, когда
я заглядывал в газеты,
Харьков мне казался удивительно
параллельным милому Парижу:
город — городу,

голод — голоду,
пафос — пафосу,
а тридцать третий год
моего двадцатого столетия —
девяносто третьему
моего столетия восемнадцатого.
Сверив призрачность реальности
с реализмом призраков истории,
торопливо выхлебавши хлебово,
содрогаясь: что там с Робеспьером?
Я хватал родимый том. Стремглав
падал на диван и окунался
в Сену.

И сквозь волны
видел парня,
яростно лпставшего Плутарха,
чтоб найти у римлян ту Республику,
ту же самую республику,
в точности такую же республику,
как в неведомом,
невидаанном, неслыханном,
как в невообразимом Харькове.

Старшему товарищу и другу
окажу последнюю услугу.

Помогу последнее сражение
навязать и слова победить:
похороны в средство устрашения,
в средство пропаганды обратить.

Похороны хитрые рассчитаны,
как времянка, ровно от и до.
Речи торопливые зачитаны,
словно не о том и не про то.

Помогу ему времянку в вечность,
безвременье — в бесконечность
превратить и врезаться в умы.
Кто же, как не я и он, не мы?

Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
свечусь, мечусь
и его, уже посмертным, светом
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.

Не обойди!

Запяв на двух тележках перекресток
и расстелив

один на двух платок,
они кричали всем здоровым просто:
— Не обойди, браток!

Всем

на своих двоих с войны пришедших,
всем

транспорт для себя иной нашедшим,
чем этот, на подшинниках, каток,
орали так:
— Не обойди, браток!

Всем, кто пешком ходил, пускай с клюкою,
пускай на костылях, но ковылял,
пусть хоть на миг, но не давал покою,
тот крик

и настроенье отравлял.

А мы не обходили, подходили,
роняли мятые рубли в платок.

Потом стыдись и мучась, отходили.
— Спасибо, что не обошел, браток.

В то лето засуха сожгла дожди
и в закромах была одна полова,
но инвалидам пригодилось слово:
— Не обойди!

**Первые
послевоенные
гонки
машин
и мотоциклов**

Первые и последние!

Всем газетам указано
объявить населению,
чтоб не перегоняло через шоссе скотину
в пятницу, с трех до пяти пополудни.
Однако в Румынии мало подшечников,
больше неграмотных.

Первые послевоенные гонки, куда допускаются
все желающие военнослужащие
на машинах всех марок и назначений,
кроме швейных и пишущих,
начинаются краткой речью
председателя жюри — подполковника
о значении: а) осторожности
б) дерзости.

Свисток!

Сорок водителей нажимают что там положено
(я не знаток техники).

Автомобили тридцати пяти марок
и мотоциклы пяти марок
устремляются по асфальту.

Девушке, бросившей цветы,
делается замечание.

Репортеры бегут телеграфировать про старт.
До финиша сто километров.

Грохот похож на ропот
большой толпы, и на рокот
большой войны, и на топот
кавалерийской бригады на марше.
Нет, на топот коней — не похож.

Между тем пастушок Антонеску —
однофамилец диктатора,
уже плененного, еще не казненного,
перегопяет через асфальт
стадо в восемьсот голов
крупного рогатого скота.

Не доходивший в четырехлетнюю начальную
школу
ровно четыре года,
знающий из всего алфавита
только букву «О»,
мальчик не информирован местной прессой
о времени и месте гонок.

Через пятнадцать минут после старта
мотоциклист, скачущий впереди,
обнаруживает, что за поворотом
асфальт переходит большое стадо.
Восьмьсот голов!

Преимущественно беспородных!
(Этого он не успевает заметить.)
Он успевает подумать: «Скоты!» —
И принимает решение:

на полном ходу
выбрасывается в кювет,
ломая руку и ногу.
Между тем
мотоцикл продолжает движение

**и через пятнадцать секунд
вламывается в быка
и застревает в быке.**

**Шум удара и мычание стада
предупреждают дальнейшие катастрофы.**

**Первые послевоенные гонки машин и мотоциклов
стаются последними гонками
в данном государстве — Румынии,
в данный отрезок истории — в 1945 году.**

Когда болели зубы на войне,
охватывало мрачное отчаяние,
и безнадёга — слово, чье звучанье
так много говорило мне.

В те дни не трудно было взять живьем,
поскольку боль свистала соловьем,
хоть разорвись, хоть лопни или тресни,
одну и ту же топенькую песню.

Во всей же остальной войне —
в землянке, и в палатке, и в окне
я никогда не чувствовал такое,
и все другое было легче мне.

В годовщину войны

Заметно выросли тополя.
Заметно выровнялись кварталы.
Почти что все, что ей не хватало,
достала измученная земля.

Достала хлеба и воды
и хлебозаводы и водопроводы.
Достала даже немного свободы
за все труды во время беды.

А горе мерят опять на фунты,
а не на тонны, как было прежде,
и нечто, подобное надежде,
блестит с соответствующей высоты.

И даже боли меньше болят,
из чего, естественно, следует,
что, в общем, дела идут на лад,
хотя и медленнее, чем следует.

Красавица

В середине четвертого года войны
снятся юношам сексуальные сны,
а батальные сны снятся тоже, но реже.
Сквозь пролом в повседневности, цели и брешь
что-то лучшее мы уже видеть должны.

К середине четвертого года,
отъелись,
притерпелись и вроде бы приоделись,
подтянулись! И к счастью каждый воин готов.
Молодые! Ну с чем-нибудь двадцать годов.

На обочине фронтового шоссе,
в городишке балканском, где женщины все
нам казались прекрасными, где почему-то
отпустила война от себя на минуту —

в городишке, где столь переулки узки,
что военные тягостные грузовики
меж домов не проходят
и пешком
все по крученым улицам ходят, —

проживала красавица в том сентябре.

Проживала

и вечером проходила
мимо нашего дома
и тихо светила,
не паля,
словно солнышко на заре.

Девять точек зрения на старость

1. Усталость

Доносить бы скорей это тело,
из которого то и дело,
напирая, фырча и спеша,
озабоченно лезет душа.

Прохудились все швы, перетерлись,
истончилась и высохла кость,
и при каждом движении — тормоз,
и при каждой радости — злость.

Бытие, что плясало и цело,
не поет и не пляшет давно.
Доносить бы скорей это тело —
отягчает сознание оно.

Чтобы сердце, как второгодник,
услышавший школьный звонок,
в славном темпе, как при погонях,
вдруг рванулось бы со всех ног.

2. Удобства

На земле и на голых досках,
на снегу засыпал — хоть бы хны!
Даже видел цветные сны!
Но теперь мне нужны удобства.

Но теперь мне нужен комфорт!
Я хочу, чтоб отдельной квартиры
мне на целую жизнь хватило,
потому что я — старый черт.

Вот когда я был молодой —
что поесть, где поспать — все едино.
А теперь не считаю седины,
потому что весь я — седой.

Я уже отыграл свою роль.
Я домой иду со спектакля
и поэтому, что ли, не так ли,
ощущаю холод и боль.

Прежде не ощущал никогда
и впервые теперь ощущаю
и поэтому защищаю,
плоть свою
от тебя, беда.

*3. Скорости
и страсти*

В старости и скорости и страсти
не имеют прежней власти.
Нет в корыстолюбии корысти
и ясна тщеславная тщета,
ежели с ухваткой старой рыси
старость выложит свои счета.
Поиграет в кошки-мышки, в прятки.
Самых беспорядочных к порядку
призовет и после отзовет
в те неограниченные области,
что прикрыла ночь медвежьей полостью,
тихие, как праздничный завод
или как погребший взвод.

4. *Молодость и старость*

Рубахи из чертовой кожи!
Штаны, как у сатаны! —
Ежели вы помоложе,
необходимы, нужны.
Сквозь проволоку, колючку!
По азимуту, напрямик!
И каждая закорючка
за то, что не любишь кривых,
цепляет, не пускает:
сиди на месте, не лезь!
По ниточке растаскает,
по щепочке вырубит лес.

А старость любит шубы,
построенные навсегда,
и чтоб никакого шума,
если горе-беда.
Надеялись, а не ждали!
Теперь без надежды ждем.
Приблизись наши дали:
они под косым дождем.
Он косит, косит, косит.
Он яр, усерден, лих
и новостей не приносит,
кроме самых плохих.

5. *Досрочник*

Скоро высох, как дождь на асфальте.
Быстро выдохся — как пожилой.
Вы его не колите, не жальте.
Ты его прости, пожалей.
Применился, перековался,
эпочил на птичьих правах

и притерся к тем, с кем сражался,
притерпелся к ним и привык.

И досрочная старость — не крови
и не сердца. Старость душ.
Серебрить не успевающая брови,
серебрила его надежды,
седной награждала ритмы
и тупила его слова,
прежде — резкие, словно бритва,
ныне — вислые, как рукава.
Словно чашку, его раскокали,
разбазарили зазря.
Язык его — как у колокола,
запечатанного монастыря.

6. Шуба

Последнюю в жизни шубу строит пенсонер:
сухо должно проноситься лет восемь — десять,
не более,
но в том, что она последняя, вовсе нету боли:
устал в нем каждый мускул, обиделся каждый нерв.

Зазря, за так, задаром пенсию не дают.
Решенные им задачи, его большие удачи
заслуживают, конечно, клубнички, розария, дачи,
сверчков за русскою печью, горлающих про уют.

Вот он ходит по горницам, в каждой тушит свет.
Вот экономит энергию, ту, что еще осталась.
Часто его бессонница лично встречает рассвет,
словно чужую юность встречает личная старость.

Вот он перечитывает роман «Война и мир».
Сорок лет собирался, нынче выбралось время

и вспомнить про войны, и поглядеть на мир,
допашивать это сладостное, томительное бремя.

Носи свою шубу долго, радуйся, думай, живи,
воспыхивай клубнику, внучатам читай Крылова,
выписывай все журналы и добрай из любви
все то, что недополучено, и
это доброе слово.

*7. Не выбрал
времени*

Почти столетний Розанов
Иван Никанорыч
сказал мне: — Будет поздно
зайти через неделю.
Я жду вас только завтра,
не позже послезавтра.
Пу что вам стоит, собственно,
Зашли бы, посидели.

Ивану Никанорычу
в тот вечер оставалось
пять-шесть деньков, не более.
Он это разумел.
И тихим голосочком
он зазывал настойчиво
и долгую беседу
мне обещал взамен.

Что в целодневном хлопоте
пропустите, прохлопаете,
что вы просуетите
в обычной суетне, —
ни шепотом, ни ропотом
восстановить не пробуйте.

Через неделю: умер —
вдруг позвонили мне.

Хвалил бы меня Розанов?
Хулил бы меня Розанов?
А может, он бы попросту
чайком поил меня?
И были мне рассказывал,
и книги мне раскладывал
по полутемной комнате
тихоцько семеня?

8. *Начинается...*

Кончилось мое пока.
Началось мое совсем.
Крепкий запах табака
в каждом уголке осел.

Кончилось мое еще.
Началось мое уже.
Как мое уже — топцё
на последнем рубеже.

Все начала кончил я.
Начинается конец.
Он тяжелый, как свинец,
но правдивый. Без вранья.

9. *Проверка*

Человек повернется холодом или жарой
в сорок градусов выше и ниже нуля
и еще —
облепляющей весь горизонт мошкаррой,

и еще —
духотой,
бездушной, словно петля.

Закипает
и превращается в пар,
загорается
и превращается в дым
ваша стойкость.

А тот, кто упал, — пропал,
и поэтому лучше быть молодым.

Двадцать градусов лишних он выдержит —
не пропадет.

До костей он промокнет,
по всё — не до самых костей.

А сгоревши дотла,
он восстанет из пепла, пойдет
и гостей позовет!
Напоит и накормит гостей!

Лучше быть молодым!
Все, кто может, — спасайся, беги
в край,
где легкая юность чеканит шаги!

V



Погоня

Вдохновение — отдохновение.
Устаешь, но как от любви.
Освежает его дуновение,
и мгновение это — лови!

Вдохновение — чувство полной,
безупречной удачи, перевыполненной задачи,
стопроцентной отдачи.

Словно в самом конце войны, когда
от волнения в горле перипит, —
вдохновению всегда некогда,
вдохновение печно спешит.

Как погоня задыхающаяся —
хоть погиб, зато нагнал,
вдохновение — рассыхающийся
перед пуском воды
канал.

Канонады твои, катаклизмы
и обрывы твои
с высоты!
Как строительство социализма,
нелегко вдохновенье — ты.

Метод

Мир абстракций, тот, что рядом, рядом
жил со мной, глядел туманным взглядом,
никогда не посещался мной,
был невыездной страной.

Что мне делать в этом странном мире?
Обобщения легки, как дым,
но оттянут мышцы, словно гири.
Предоставим это молодым.

Факты накапливались и скоплялись,
друг за дружку иногда цеплялись,
тлели в кучах прелою листвою,
палой, прелой, но еще живой.

Я их не выстраивал в системы,
этих не соединял я с темп.
Я не разворачивал павал
и концепций в нем не узнавал.

Что там ни толкуй ученый олух,
я анатом, а не физиолог.
Не геолог я — промышленник.
Обобщать я вовсе не привык.

Просто думаю, отнюдь не мыслю,
и подсчитываю, а не числю
и с древнеславянским языком
даже в кратком курсе незнаком.

**Фактовик, натуралист, эмпирик,
а не беспардонный лирик!
Малое знаточество свое
не сменяю на вранье.**

Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.

Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.

Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвишное горе.

Но они переплыли и выдумку и игру
и приплыли в синее море.

Мне поэтому кажется иногда:

я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадина и людекаля.

И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:
для забвения пету причпы,
но мгновения лишнего не проживу,
когда канут в пучину.

Ритмы

С утра обнаруживаются ритмы
в сердцебиении, потом в ходьбе.
Сначала — в мерных движениях бритвы,
потом — в частотикающей судьбе.

Оказывается, есть порядок
в расположении войск и грядок
и в том, как падает в городе снег.
Порядок есть, беспорядка нет.

Выходит, что звезды точно выходят
по положенным им местам,
а солнце встает и заходит
там, где следует, именно там.

Поэтому мера свойственна обществу,
и даже морю ритмично ропщется,
и все, что на небе, в душе, на земле,
можно выразить в точном числе.

Стрелки подвожу и привожу
собственное время
в соответствие с всеобщим.

Легкой шестеренкой зацепляю
тяжелоподъемность шестерни
общества.

Вхожу в оркестр
личной, единственной струной.

Я готов к взаимодействию,
готов
соответствовать, вращаться
в ритме, заданном народом
или человечеством,
или, кто там
самый главный механизм заводит.

Вычленился из правопорядка,
на мгновение ход его нарушить —
значит размолотся в шестернях.
Это не годится.

**Пограмотней меня и покультурней!
Ваш мозг — моей легче головы!
Но вы не становились на котурны,
на цыпочки не поднимались вы!**

**А я — пусть на ходулях — дотянулся,
взглянуть сумел поверх жителя-бытия.
Был в преисподней и домой вернулся.
Вы — слушайте!
Рассказываю — я.**

Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели самые лучшие книги, из тех, что я знал, раскрывать, не разбирались в гуаши, а что до пастели, думали: это кровать.

Первый мной встреченный гений был писарем роты. Быстро, как будто планета Земля обороты, он совершал осмысленье планеты Земли. Вскоре его — перевели.

Самые лучшие люди — самые занятые. Это, наверное, были солдаты простые. Чем занятые? Им надо творить чудеса каждые полчаса.

Им достается не рукопись — только машинопись. Скоропись духа — искусство — им не разобрать. Живопись им непонятна, как кинопись. Песни — любили орать.

Вот отоспятся, отстроются и наедятся — и на искусство, как следует, поглядят.

Боль в глазах

Всю-то жизнь я читал. За это
получаю, как всякий любой,
резь в глазах — как от сильного света,
как от света прожектора — боль.

За все листанные газеты,
что домой ворохами я нес,
резь в глазах, как от сильного света,
боль до слез.

За текущую макулатуру,
нет того, чтобы мимо текла,
за все читанное мною сдуру,
боль зеницы мои свела.

Сколько книг человеку нужно?
Семь книг?
Шесть книг?
Пять книг?
Жизнь и год — полтора еще нужно,
чтоб во всем разобраться в них.

Я теперь на руках их держу,
поразмыслю,
вдумчиво взвешивая,
а потом:
— Извините, — скажу.
Сдержанно скажу.
Вежливо.

Старые рифмы

Хорошая рифма, словно старинное,
это раз проигранное: «мглу — углу»,
хорошая,

пусть слышанная сторницею,
опять пластинкой идет под иглу:
все круги ее кружения,
все бдения ее часов,
все пузыри ее брожения,
это всех ее голосов!

Рифмы, поддержанные двумя веками
русской поэзии, — ее труды.
Рифмы, истонченные — половниками!
Рифмы, цветущие — сады!

Испытанные с вооружения, как пыток,
храняемый на случай рукопашной схватки,
едва ощутимые, как рельсовый стык,
незабываемые, как родовые схватки!

Нет,
не случайно,
не даром,
не просто
первыми в голову приходят они же —
рифмы человеческого роста,
не выше,
не ниже.

Немало книг успею издать,
преодолею мели и рифы.
О, если бы мне удалось создать
одну
новую
старую
рифму!

Стих

Нет, сработано на совесть
и — талантливой рукой.
Почвенность
и невесомость
есть.
И хаос
и покой.

Сколько музык и мозаик
взито, вбито в этот стих.
Сколько стукнуло морзянок!
Сколько пущено шутих!

Нет, сработано как надо.
Хватка страшная легка.
Стих проходит по канату.
Стих проходит сквозь века.

Он — удобство.
Он же — кара.
Прочитал —
и отлегло.
Ослепительней Икара
в миг,
когда того сожгло.

КАКИЕ ЛИЦА
У ПОЭТОВ

На словопрениии обычном и привычном, послушав речи и окутав плечи какой-то оренбургскою рваниною, ко мне нагнулась, шатнулась, устремилась, ко мне метнулась Ксения Некрасова и громким, цетовым, распевным шепотом сказала:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ.

Я отяделел. Более того. Я щелкнул выключателем сознания, заведующим звуками. Все стихло. Бесшумно шевелившиеся губы оратора сложились в извительную, горькую, лихую и благородную усмешку. Какие взгляды он метал! В сенате — римляне, в Арсенаге — афиняне, в Конвенте — робеспьеристы метали менее значительные взгляды. Действительно:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Какне лбы! Какне подбородки! Хладеющая лава оскорбленности. Обвал эмоций. Водопад счастливости. Кардиограмма чувств и мыслей. Карта, притом рельефная, их жизни в искусстве. Как не сказать!

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Единственный же способ восстановить пропорции — щелчок того же выключателя — включенье звука. Пускай заговорят! Пусть почитают, что написали. Пусть проскандируют свои удачи. Пусть заглушат недоработки. Да, в самом деле: дайте новгородцу поголосить на вече. Дайте якобинцу вотировать какую-нибудь казнь. Пусть рямянин уста отверзнет и крикнет что-нибудь. И мы решим по справедливости: такие или не такие, а если не такие то —

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ?

Собор
святого
Петра

Впереди по лестнице шел монах
в черных штанах,
выглядывавших из-под черной рясы —
совершенно черный монах
африканской расы.

Только белая лента воротничка
вроде родничка
обтекала черное горло.
Ах, куда монаха поперло!

Ах, куда меня поперло за ним!
Я со счету ступеней сбился.
Но поскольку тогда еще был молодым —
долез, дополз, добился.

Там, где кончилась лестница, был бог —
в полуметре над головою.
Микеланджело богу тому помог
стать действительностью живою.

Если я бы подпрыгнул, то бога достиг,
прикоснулся к нему бы рукою,
но монах отдышался, задумался, стих,
умиротворился в покое.

Я — неверующий.
В то же время — я
не мешающий верить ближним,

и, быть может, поэтому самому я
вдруг себя почувствовал лишним.

К Микеланджело я проявлял интерес,
и грустил и скучал немного,
но до бога я в этот раз не долез,
не дополз, говорю, до бога.

Киногород

Из фанеры ерботал с холстиной
киногород.

Почти паутинной
легкости.

Почти мотыльковой
долговечности.

Пустьяковый,
кружевной, эфемерный, эфирный —
кратковременного употребления.

Есть в его обреченности смирной
грациозность почти оленья.

Что бывает с киногородами?
Кто их легкие жизни отнимет,
когда дни они докоротали,
когда их оператор отснимет?
Сколько Римов и сколько Греций
на экранах стоит упрямо?

Кто приходит глазеть и греться,
если жгут их фанерный мрамор?
Сколько готик
и сколько Атик
быстро выстроилось, окрепло,
чтобы превратиться
в квадратик

пленки
и потом в кучку пепла.

Киногород свои миражи
ловко вписывает в пейзажи.
Он шумит своей съемочной группой.
Он блистает прожекторами.
А потом его вычеркнут грубо,
словно слово из телеграммы.

Вы, артисты,
и вы, статисты,
разыграйте без спора и ссоры,
воплотите точно и чисто
дивный замысел режиссера.

Осветители! Свет поставьте!
Звук, звуковики, включите!
У тумана, у суноштата,
солнце
на целый день
получите!

Ямбы

Приступим к нашим ямбам,
уложенным в квадратники,
придуманным, быть может,
еще в начале Аттики,
мужские рифмы с женскими
перемежать начнем,
весы или качели — качнем?
Качнем!

Вес, что до нас придумано,
вес, что за нас придумано,
продумано прекрасно,
менять — напрасно.
Прибавим, если сможем,
хоть что-нибудь свое,
а убавлять отложим,
без ямбов -- не житье.

Нет, не житье без ямбов,
стариннейших ямбов,
и я не пожалею
для ямбов дифирамбов.
От шага ли, от взмаха?
Откуль они?
Не вем.
Не дам я с ними маху,
вовек не надоем.

От выдоха ли, вдоха?
От маятника, что ли?
Но только с ямбом воля,
как будто в Диком Поле,
когда до капли вылит,
дождем с небес лечу,
лечу, лечу навывлет
и знаю, что хочу.

Профессия — она же и стезя.
Поэтому ни врать, ни лгать нельзя,
но фантазировать не возбраняется.

Обычная, вульгарная брехня,
первирует и злит меня.
Мистификация же — извиняется.

Хорошо!

Хорошо было уезжать.
Хорошо было приезжать.
Хорошо было просто ездить —
хоть на север, а хоть на юг,
в одиночку или сам-друг
и с большой компанией вместе.

Расчудесный дождь — обложной
вдруг сменял распрекрасный зной
или было просто прохладно.
На другой же день, с утра —
замечательная жара
воцарялась ловко и ладно.

Хорошо было. Хорошо!
Если было нехорошо,
значит, просто отлично было.
Почему? Потому что был
молод, юн. До сих пор не забыл
я пымаша этого пыла.

Содержание

Слово к читателю	5
----------------------------	---

I

«Не обходи необходимости...»	9
«С большими расстояниями покончено...»	10
«Дело в том, что рабочие, фабричный и заводской...»	11
«Не искренность, а нечего и незачем...»	12
«Интеллигентнее всех в стране...» . . .	13
Трактора и автомобиля	14
Светите, звезды	15
Судьба	16
Привязчивая мелодия	17
Дождь	18
Поцелуй в темноте	19
Решение	20
О борьбе с шумом	21
Прозвище самолета	22
«По всем правилам — мой был ход...»	23
«В памесках природы...»	24

II

Косые линейки	27
Перевозу Брехта	30
Блик	32

«Смешливость, а не жестокость...» . . .	34
Заболоцкий спит в итальянской гостинице	35
Гуманист с перегона Москва—Калуга	37
Дом	39
Последний выход	41
Толя Калачева	42
Расширенное воспроизводство поэтов	44
Со всех языков	46
Негритенок	48
Вершигора конспектирует	50
Молодята	52
Подполковник	53
Взор	55
Прыжок	56
Соловьев с Ключевским	57
Петроград, 1920	59
Тезки	60
Отец	62
«О, первоначальныя бытня!..»	64

III

«Кромкой берговою тихо бреду во тьму...»	67
Петухи	68
И гром и молнии	69
«Перепады давлений и температур...»	70
Портрет волны	71
Империя заката	72
Молча смотрю на солнце	73
Время горы	74
Собачья душа	75
Море	76
Прощание	85
«Самолеты порют парусицу пеба...» .	86
Снег	87

Полуночное шоссе	92
Последний дом Москвы	93
«Не падышишься перед смертью!..» .	94
Розовые лошади	95
Копи с конзавода	96
Дерево в окне	97
Садовый участок	98
Летний дождик	99
«У всех мальчишек круглые лица...»	100
Мой дождь, мой дещ	101
Желаше	102

IV

Подшивки	105
Как растаскивается пробка?	107
«От Малахова кургана до Мамаева кургана...»	109
Как отдыхает разведчик	110
Скандал сорок шестого года	111
Послевоенное беспитчье	112
Фотографии моих друзей	113
Политкружок часовщиков	114
Глаза детей	117
Варшавянки	118
«Я вижу белые халаты...»	119
Моя средняя школа	120
Ленка с Душкой	122
Три столицы (Харьков—Париж—Рим)	123
«Старшему товарищу и другу...»	125
Не обойди!	126
Первые послевоенные гонки машин и мотоциклов	127
«Когда болели зубы на войне...»	130
В годовщину войны	131
Красавица	132
Десять точек зрения на старость	134

V

Погоши	143
Метод	144
«Про меня вспоминают и сразу же— про лошадей...»	146
Ритмы	147
«Стрелки подвожу и привожу...» . . .	148
«Пограмотней меня и покультурней!..»	149
«Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели...»	150
Боль в глазах	151
Старые рифмы	152
Стих	154
Какие лица у поэтов	155
Собор святого Петра	156
Кипотгород	158
Ямбы	160
«Профессия — она же и стезя...» . .	162
Хорошо!	163

Борис Абрамович Слуцкий

ДОБРОТА ДНЯ

Новая книга стихов

Редактор **А. Москвитин**

Художник **Г. Басыров**

Художественный редактор **Б. Шляпугин**

Технические редакторы **И. Подшебякин,**
В. Никифорова

Корректоры **А. Мелеткина, Н. Саммур**

Сдано в набор 17/V-73 г. Подписано к печати 11/IX-1973 г. А12726. Формат 70x90 1/32. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 5,25. Усл. печ. л. 6,14. Уч.-изд. л. 4,62. Тираж 25000 экз. Заказ № 8639. Цена 54 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Рязанская областная типография
390012, Рязань, 12, Новая, 69



Новая книга стихов Бориса Слуцкого, продолжая развивать магистральные темы творчества поэта, всем своим острием обращена к современнику, осмысливающему нашу эпоху в историческом, социальном и духовном плане. Конкретные приметы довоенных лет, война, проблемы общественной жизни послевоенной действительности и современность сплавлены в единый организм, связывающий сегодняшний день с событиями истории.

Стихи Б. Слуцкого гражданственны, согреты любовью к людям, содержат яркие и глубокие движения нашего времени, обращены к сердцу и разуму человека.